

ФРАНЦ  
КАФКА

ПРОЦЕСС

ФРАНЦ КАФКА

# ПРОЦЕСС

*роман*

---

*перевод с немецкого*

---

Вступление Георгия Адамовича

TORINO



## ВСТУПЛЕНИЕ

О творчестве Франца Кафки написано в последние десятилетия очень много. Было бы однако заблуждением счесть, что благодаря усилиям исследователей и критиков творчество это оказалось разяснено: нет, в самой основе своей оно остается темным, даже загадочным, и несмотря на обилие более или менее откровенных подражаний, обособленность его делается с течением времени все очевиднее. Нередко приходится читать или слышать, что Кафка будто бы нашел тему, носившуюся в воздухе эпохи, однако никем до него не уловленную, и что значение его именно в этом. Если с таким утверждением и можно согласиться, то лишь с той оговоркой, что у Кафки был, значит, дар предвидения. Эпоха оказавшаяся в жестоком разладе с радужными предсказаниями, делавшимися нашими отцами и дедами, развеявшая многие иллюзии, подорвавшая веру в благодетельность прогресса, эпоха эта как бы ответила творчеству Кафки, дала его фантастическим вымыслам реальные повседневные очертания. Но он-то начал вглядываться в свой внутренний мир еще тогда, когда декорации общественного благополучия и

благоустройства со сцены Европы сметены не были, разве что только слегка поколеблены. При чтении Кафки вспоминаешь иногда магические блоковские строчки:

О, если б знали, дети, вы,  
Холод и мрак грядущих дней!

Думаю однако, что Кафка выбросил бы слово « грядущих ». Для него холод и мрак были постоянными, естественными чертами человеческого состояния, прошлого, настоящего и будущего. И никакой помощи по его убеждению ни откуда придти не может.

Новейшая западная критика не долюбливает ссылок на жизнь писателя, восстает против психологических и биографических изысканий, широко распространенных в прошлом столетии. Изучение литературных форм, сменяющих одна другую, представляются ей единственно-плодотворной задачей. Заинтересовавшись, с опозданием на полвека русскими формалистами, она склонна, например, еще раз обстоятельно разобрать, « как сделана « Шинель », обходя молчанием мысли, мучения и сомнения, во власти которых находился Гоголь, когда повесть свою писал. Приемы эти всколыхнули западную критику, вдохнули в нее не мало энергии, и нечего было бы против них возразить, не претендуя их приверженцы на какую то критическую монополию, на недопустимость иного отношения к литературе. Допустимы однако и друг друга дополняют все методы, прежние и новейшие. Литература – слишком зыбкое дело, слишком широкое и разностороннее понятие, чтобы можно было подвести ее сущность под формулы близкие к математическим. Что поймем мы в творчестве Кафки, в духовной исключительности этого творчества, ограничившись рассмотрением того, как оно

« сделано », как « сделан », например, роман « Процесс »? Да, мы проследим в таком случае все злоключения Иосифа К., несчастного героя « Процесса », тут же снабжая их стилистическими или композиционными комментариями, мы отметим, что он признает себя виновным, не зная, в чем его вина, подчеркнем, что Иосиф К. волнуется, не понимая, из-за чего, и что в конце концов он безропотно следует за палачами, повидимому убежденный в законности казни. Но как и откуда такие видения возникли в мозгу писателя? Почему Кафка неизменно придает им характер неотвратимости, непостижимой, стальной логической последовательности? Откроем дневник Кафки, те страницы, где он вспоминает детство, — может быть какойнибудь, пусть и слабый отклик найдем мы там?

« По вечерам я читал книжки полные увлекательных историй. Надо прервать чтение и ложиться спать. Я не хотел спать. Тогда выключали газ и я оказывался в темноте. В чем дело? Мне отвечали: все ложатся спать, значит и ты должен лечь спать. Я не мог понять, почему я должен делать то же, что и все другие, но я верил, что это необходимо ».

Или дальше:

« В детстве мне делалось жутко, когда отец заводил речь о « концах месяца », Любопытен я не был, но даже если бы спросил, что это такое, эти « концы месяца », ответ не стал бы для меня ясен. « Концы месяца » оставались для меня тягостной тайной ».

Отец Франца Кафки, делец, коммерсант, грубый, ограниченный человек, раздраженный практической ничемностью сына и относившийся к нему с властным, хотя и пренебрежительным недоумением, сыграл в его развитии большую, печальную роль. За несколько лет до

смерти Франц написал отцу длинное, проникнутое горечью письмо, так и оставшееся не отосланным. « Ты казался мне тираном, для которого основой права решать и судить была одна его личная прихоть », писал он. Нет ничего невозможного в предположении, что сложись детство, а отчасти и раннее юношество Кафки иначе, несколько иным оказалось бы и его творчество, — как нет ничего невозможного в предположении, что иначе сложись жизнь Достоевского, без убийства отца крестьянами, без ожидания смерти у эшафота на Семеновском плацу, без четырех лет каторги, « Бесы » и « Карамазовы » не были бы теми книгами, которые мы знаем.

Конечно, воздействие бедствий, пережитых Достоевским, на его « мироощущение » (именно « мироощущение », не мировоззрение) сильнее, несомненное, чем зависимость литературной деятельности Кафки от унылого, безотрадного детства. Возражение, сводящееся к тому, что несчастливых детей было и всегда будет на свете много, напрашивается в данном случае само собой. Но при болезненной впечатлительности мальчика, гнет установившийся в доме родителей, довольно рано обернулся чем то вроде общего, неумолимого мирового закона. Несчастливых детей на свете действительно много, но очень мало таких, которым болтовня отца о денежных затруднениях к концу месяца внушает таинственный ужас.

В чем заключается содержание « Процесса », да впрочем и всех других повестей и рассказов Кафки, если отделить их сущность от фабулы, от бесчисленных, зорко подмеченных, отчетливо и кропотливо обрисованных бытовых мелочей? В нескольких словах это содержание можно бы определить так: человек есть раб, а кто или что над ним безраздельно властвует, неизвестно никому.

С человеком может произойти все, решительно все, без того, что бы кто либо оказался в состоянии оправдать или хотя бы только мотивировать происшедшее. Борьба бесполезна, бессмысленна, призрачна: бороться не с кем и не с чем, пустая трата сил ни к чему не приведет, и Иосиф К., ищущий опоры, помощи, совета, суетится и мечется именно бессмысленно. Кто превратил его из свободного, преуспевающего по службе человека в затравленное, ошеломленное существо? Иосиф К. этого не знает, Кафка этого не объясняет. «Закон», говорит он. Но это Закон с прописной буквы, не подлежащий отмене или пересмотру, очевидно возникший вместе с возникновением мира. В мире может быть и есть порядок, но это порядок нам непонятный и к нашей участи безразличный.

О бессмысленности жизни говорят многие современные западные писатели, Без преувеличения можно сказать, что эта бессмысленность стала в наши дни очередной, к сожалению даже модной темой и что некоторые романисты разрабатывают ее теперь с тем большей охотой, с тем большим «аппетитом», как выразился бы Тургенев, чем меньше у них для такой разработки оснований. Кафка в этом смысле — законодатель, основоположник, хотя и сам он искал подтверждения своим догадкам у мыслителей прошлого, больше всего у Киркегора. Надо во всяком случае без колебаний признать, что до подобного отчаяния, как то, что отражено в его книгах, никто из новейших певцов «абсурда» не доходил, как бы ни было обманчиво поверхностное, первое впечатление от их писаний. Вероятно именно из за этого только над книгами Кафки, над тьмой в них царящей, далеко за ее пределами, может быть помимо воли автора, брежит какой-то свет, — как надежда, как обещание, что из тупика, в который судьба



завела Иосифа К. и его друзей по несчастью, должен быть найден выход.

В обширном, многословном предисловии Б. Сучкова к советскому изданию «Процесса» (Москва, 1965) выход, ясный и неопровержимый, как дважды два четыре, указан, — при том не без высокомерия. Простачек Кафка, видите ли, не понял «тех сложных общественных причин, которые порождают враждебные отношения человека и общества в капиталистическом мире». Трагизм, которым его творчество проникнуто, объясняется исключительно узостью авторского кругозора. Обратись Кафка к миру социалистическому, пессимизм свой он отбросил бы и убедился бы, что жизнь прекрасна и что человеку уготовано в ней благополучие и счастье. Должен ради справедливости отметить, что в предисловии Сучкова есть отдельные верные замечания. Но эти его бесчисленные попадающиеся чуть ли не на каждой странице ссылки на капитализм и социализм, на классовые противоречия, на слепоту бедного Кафки, не видевшего, что «движущая сила истории — массы», все это уныло-стереотипно и нестерпимо. Может быть без такого рода указаний перевод «Процесса» не мог бы в Москве появиться? Может быть Сучков, повидимому внимательно Кафку читавший, сознавал, что пишет вздор и все таки пошел на уступки? Не знаю, ответить не могу. Но помимо того, что метафизическая сущность замыслов Кафки слишком очевидна, чтобы сводить их опровержение к прописям, не поднимающимся выше уровня казенной газетной статьи, декламация Сучкова звучит фальшиво и по другим причинам, пожалуй еще более важным.

Коммунистический или социалистический рай за полвека своего существования дал бесчетные примеры

обращения с человеком, которые едва ли не ближе к видениям Кафки, чем худшие образцы гнета и насилия в прошлом. В сталинских застенках тысячи и тысячи людей гибли в таком же бесправи, в таком же безмолвии, в таком же неведении своей вины, как и Иосиф К.. Следовало бы об этом вспомнить, прежде чем наставительно повторять азы будто бы высоко-гуманной, благотельной партийной мудрости и говорить о политической незрелости Кафки. Если многим теперь его книги, и « Процесс » в первую очередь, представляются пророческими, то именно потому, что наш век оказался в ужасающей гармонии с их основным складом, Добавлю во избежании умышленно-превратных толкований, что конечно, конечно, конечно, гармония эта полностью распространяется и на порядки, установившиеся в Германии под гитлеровским владычеством.

Социализмом Кафка заинтересовался очень рано, в шестнадцать лет, будучи еще в школе, и влечение к социалистическим идеям сохранил надолго. В его письмах и дневнике есть указания, что он с живым интересом читал Герцена. Читал он и Кропоткина. Но его представление о социализме, внушенное жаждой преодоления людской разобщенности, исключало допущение какой либо диктатуры с ее неминуемыми последствиями. Вероятно именно потому русская революция, по крайней мере в ленинском ее облики, не вызвала у Кафки ни внимания, ни сочувствия: он прошел мимо нее, как впрочем в последние годы жизни, — Кафка умер в 1924 году, вообще не придавал значения политическим событиям, все глубже погружаясь в свои безотрадные сны. Русскую литературу он несомненно знал, свидетельств чему довольно много, в особенности свидетельств, даже сравнительно мелких, отно-

сящихся к Достоевскому. В одном из своих писем Кафка, например, рассказывает, — хотя и не вполне точно, — как Некрасов и Григорович, прочитав «Бедные люди», чуть ли не на рассвете прибежали к Белинскому с известием, что «явился новый Гоголь». Сохранились сведения, что за несколько лет до смерти Кафка вел долгие беседы о Толстом со своим другом Оскаром Баумом, — и кстати, в связи с Толстым, не лишнее привести строки из дневника Кафки, относящиеся к тому же времени. Говоря о задуманном новом романе, действие которого должно было быть связано с деревней, он пишет:

«Общее мое впечатление от крестьян: это аристократы, нашедшие пристанище в земледелии. Они организовали свой труд с такой мудростью и таким смирением, что как бы защищены от житейских встрясок до блаженного часа смерти. Подлинные граждане мира». Редкий, пожалуй даже единственный в писаниях Кафки случай, когда он оказался близок к толстовским мыслям и чувствам. Нехлюдов в «Воскресении» тоже ведь признает крестьян принадлежащими к «настоящему высшему свету», противопоставляя их завсегдашним мнимовеликосветских петербургских гостиных.

Наиболее значителен в «Процессе» эпизод в пражском соборе, где Иосиф К. встречает тюремного священника. Сам Кафка повидимому придавал этим страницам особое значение, т.к. не раз читал их вслух друзьям и даже включил их в сборник, вышедший под названием «Сельский врач». Эпизод этот находится в самом конце романа, и при чтении его само собой вспоминается, что в заключительной главе повести Альбера Камю «Незнакомец» (или «Посторонний» в другом переводе) Мерсо, приговоренный к смертной казни, тоже беседует со свя-

щенником. В замысле «Незнакомца» заметно влияние Кафки. Мерсо хотя и знает, что обвинен в убийстве действительно им совершенном, преступником себя не чувствует и не признает. «Всему виной было солнце», говорит он в свое оправдание на суде, вызывая усмешки и недоумение присутствующих. Бессмысленность всего случившегося почти безгранична.

Однако сходство с аналогичным эпизодом в романе Кафки остается скорей внешним. Тюремный священник, непостижимым образом осведомленный о том, кто такой Иосиф К. и что ему грозит, отнюдь не призывает его к раскаянию. Нет, он рассказывает ему загадочную и двусмысленную историю о некоем поселянине, страстно желавшем проникнуть в святилище Закона, просидевшем у закрытых для него врат всю жизнь и только в день смерти узнавшем, что один лишь он и имел право пройти за их пределы. Иосиф К. возражает, спорит, утверждает, что значит поселянин был просто на просто обманут неумолимым привратником. «Не торопись решать и судить, — отвечает священник, — вдумайся, не повторяй чужих суждений». Под конец беседы, будто в последней попытке разъяснить Иосифу К. — и его положение, и вообще порядок царящий в мире под именем законодательства и справедливости, он говорит:

— Да, я принадлежу к тем, кто служит Закону. А раз это так, чего могу я от тебя требовать? Закону до тебя нет дела. Ты в его власти, когда обращаешься к нему, ты свободен, если хочешь уйти».

Рассказ тюремного священника в «Процессе» и возражения его Иосифу К. вызвал в западной критике пожалуй больше комментариев, чем какие либо другие страницы Франца Кафки. Некоторые из них интересны,

находчивы, остроумны, содержательны. Но едва только тот или иной критик пытается объяснить этот рассказ, — объяснить, т.е. свести его к чему то логически приемлемому, — как безнадежность подобной попытки становится очевидной: разуму в творчестве Кафки делать нечего, и замечательно, что кажущееся противоречие его замыслов с его стилем, неизменно сухим, почти протокольно-точным, лишенным каких бы то ни было украшений, противоречие это еще сильнее подчеркивает вне-разумность рассказа. Кафка не склонен предложить читателю какие либо « сладкие грезы », хотя бы только под видом традиционных цветов поэтического красноречия. Он пренебрежительно отбрасывает образы, метафоры, игру или переливы красок: « я не жду рассудочного понимания, — как бы говорит он, — но никого не хочу и усыпить словесными наркотиками ».

Две реплики, две подробности в эпизоде с тюремным священником заставляют задуматься. В начале беседы Иосиф К. говорит, что священник может быть не отдает себе отчета, кому он служит, а затем, в ответ на двукратное молчание, замечает, что не хотел сказать ничего обидного. Священник во внезапном возбуждении кричит:

— Что же, ты слеп, ничего не различаешь в двух шагах?

Под конец разговора, отпуская Иосифа К., он говорит:

— Пойми же, кто я.

Что это значит? Содержание и характер речей тюремного священника не дает ни малейшего основания для каких либо гипотез религиозного, евангельского характера. Но все таки почему Кафка ввел в « Процесс » этот эпизод в соборе, именно в соборе, и каков смысл загадочных слов священника? Почему последним себе-

седником несчастного Иосифа К. оказался именно священник? В «Незнакомце» Альбера Камю все в этом отношении ясно и никакого недоумения заключительные страницы повести не вызывают. Не то в «Процессе» Кафки.

Здесь мы само собой подходим к вопросу о скрытой религиозной сущности творчества Кафки. На вопрос этот с уверенностью дал утвердительный ответ Макс Брод, ближайший друг автора «Процесса», его душеприказчик, больше кого бы то ни было сделавший для его посмертной литературной известности и славы. Несмотря на авторитетность Макса Брода во всем, что Кафки касается, утверждение его вызвало не мало скептицизма. Надо по справедливости признать, что если основываться исключительно на сочинениях Кафки, не касаясь ни его личности, ни биографии, скептицизм этот оправдан. Одна только запись в сохранившихся черновиках обращает на себя внимание: «Писать — как форма молитвы». Но большинство исследователей творчества Кафки не придают ей значения, считая ее одной из его случайных обмолвок, или, на крайность, предположением.

Нельзя однако счесть случайным интерес Кафки к Достоевскому, — тем более, что интерес этот едва ли был ограничен социальным содержанием романов русского писателя или их художественными достоинствами. Одного из последних своих друзей, Роберта Клопштока, молодого врача, присутствовавшего при его кончине, Кафка охарактеризовал, как человека, «учителя которого — Иисус и Достоевский». Сопоставление этих двух имен, само по себе, даже без отношения к Клопштоку, достаточно показательно для представления Кафки о Достоевском. Известно, что в конце жизни он читал блаженного Авгу-

стина. Но повидимому сильнейшим влиянием, им когда либо испытанным, было влияние Киркегора, с произведениями которого Кафка впервые познакомился в 1913 году и которые читал до смерти.

Киркегор (1813-1855), после долгого забвения, или вернее игнорирования, признан теперь отцом экзистенциализма, господствующего в наши дни философского течения. Творчество его настолько тесно связано с его личной духовной эволюцией и в этом смысле так мало похоже на проникнутую единством стройную систему, что к его последователям с одинаковым правом причисляют себя и экзистенциалисты атеистического толка, как Гейдеггер или Сартр, и философы религиозно настроенные, например Ясперс, или виднейший протестантский теолог Карл Барт. Из русских мыслителей Киркегором был страстно заинтересован Лев Шестов, познакомившийся с его творчеством лишь на склоне лет.

Однако поздние, обостренные близостью смерти прозрения и недоумения Киркегора привлекли в западной литературе меньше внимания, чем общие его размышления о судьбе человека. Но таково ли было отношение Кафки к нему? Читая некоторые записи Киркегора поражаешься их связи с Кафкой, в особенности читая то, что он говорит об одиночестве, как о неизбежном условии пребывания в мире. Киркегор был каким то сверх-христианином, утверждавшим, что в христианстве, во всей христианской истории, Христос отсутствует и что даже апостолы исказили сущность завещанного им учения, сделав его доступным и приемлемым для тысяч и тысяч людей, — между тем, как Христос был одинок. Отсюда отчужденность Киркегора от церкви, даже вражда к ней, отсюда же и его представление о бессмысленности

той жизни, которая лже-мудрецами считается разумной и ведущей к спасению.

«Если на моей могиле будет сделана надпись, я хотел бы, чтобы начертано было только одно слово: «Одинокий». Это теперь покажется непонятным, но когданибудь будет понятно».

Есть ли в наши дни возможность пострадать за веру? — спрашивает Киркегор. «Не только есть, но и доступна она каждому. Достаточно быть верным Христу в мире, который считает себя христианским. Благоустроенное, благомыслящее христианское общество сделает все, что надо, чтобы помочь вам в вашем намерении». («Обучение христианству»).

Кафка эти страницы читал, над ними размышлял. Думаю, что можно без натяжки добавить: читал, колебался, сомневался, сопоставляя свое одиночество с киркегоровским, вдумываясь в сущность того и другого, в возможность преодоления, исхода. Но на пороге сомнений он и остановился, может быть из-за ранней смерти, не успев всего договорить. Большого одиночества, чем то, которое выпало на долю Иосифа К., нельзя себе представить, большей бессмыслицы в литературе не существует. Принял ли бы когданибудь Кафка тот исход, который подсказывал ему Киркегор? Не знаю, никто не знает, но какой то свет, — скажу еще раз, — над отчаянием Кафки брежит, и только это далекое, слабое сияние естественно продолжает все рассказанные им страшные и бесчеловечные истории.

Неужели мог он не чувствовать, что продолжение или даже завершение необходимо? Неужели не сознавал, что мир, даже в худшем своем состоянии, все же не так темен, каким он представил его? Неужели не был измучен



тем, что дал миру и жизни одностороннее отражение, при том в разладе со своей натурой, которая открыта была для любви, дружбы, для влечения к счастью? Перед смертью Кафка настойчиво просил Макса Брода сжечь все оставленные им рукописи. Отчего? Не оттого ли, что не в пример большинству преуспевающих литераторов, он принимал за свои писания духовную ответственность, и не то, что бы отрекался от них, нет, но догадывался, что им дано будет поверхностное, беспечное истолкование? Что видения, его самого ужасавшие, войдут в литературный обиход, как новая тема, на которую вскоре появится множество искусных, порой даже изящных вариаций? Макс Брод воли его не исполнил, и поступок этот единогласно признан его великой заслугой. Но так же ли оценил бы его решение сам Кафка, рад ли был бы променять даже на самую громкую посмертную славу свои последние сомнения и мысли, внушившие ему такое завещание? Ответа нет и быть не может. Но читая книги Кафки надо бы помнить, что читаем мы их в насилие над волей автора и что в его предсмертной, вероятно очень горестной просьбе уничтожить все им написанное должен таиться смысл неразрывно связанный с сущностью его творчества.

Георгий Адамович